ДИМКИНА ШКОЛА
(рассказ)

Димка не спешит делать домашнее задание, склонился над чистым тетрадочным листом и лениво рассматривает образцы прописи, сделанные рукой учительницы. Для него чистописание – мучение. Он уже и пёрышко обмакнул в чернильницу-«непроливайку», держит руку на весу, а первую букву вывести не торопится. Ручка деревянная, светло-синяя с железной окантовкой, куда вставляются стальные ученические номерные перья. Сидит, раздумывает. Для чистописания требуются перья только номеров 11 или 86. Димка пишет 11-м, на узкой шейке которого выдавлена пятиконечная звезда. Перо так и называется «звёздочкой», – у неё на широком месте имеется прорезь, она переходит в длинный носик, разрезанный пополам. Димка всё разглядывает и разглядывает пёрышко. Если нажать на носик, то он раздвинется, а если не нажимать, то смотрится, как целый. В прошлом году Димка не одно перо сломал, изучая упругость и прочность его. И наигрался вдоволь «звёздочкой» с приятелями, переворачивая перо, как майского жука. Забавная игра в пёрышки и очень простая. Надо на подоконнике расположиться вдвоём, вытащить несколько из пачки, а в пачке 100 штук, положить одно «звёздочкой» вверх. Это твоё перо; приятель должен его с первого раза перевернуть. Делается это так: он своим перышком легонько тюкает по овальному концу лежащего пёрышка. Если сразу перевернул, то забирает его себе, а тебе приходится вынимать из коробки другое. Если перевернёт и его – выставляй третье, и так до тех пор, пока везёт, а как не сумеет справиться, то наступает твоя очередь. Тут нужна тренировка, чтобы не остаться с пустой коробкой. Димка редко кому проигрывал.

Теперь немного повзрослел, в пёрышки не играет, знает их по именам: «уточка», «лягушка», «семечко», «пионер» – это для учеников начальных и средних классов. Стар-

шеклассники пишут, в основном, перьями «рондо» и «мертвечик». Эти – с коротким носиком-«шишечкой», иногда мальчишки под перо прикручивают медные пружинки – от шейки пера до носика, чтоб долго держались чернила.

Известно: хороший почерк даётся только мягкими перьями. И цифры, и буквы должны выглядеть красиво, вот почему не спешит он с этим трудным делом, – откладывает ручку и подходит к трёхлинейной лампе, висящей на стене. Стекло закопчено, но он не станет протирать его бумагой, чтоб случайно не запачкать руки, а чуть поднимет фитиль. В доме зимой без лампы мрачно, окна маленькие, пол земляной. У отца не нашлось досок его доделать.

Не успел мальчик прибавить свет, как вверх по стене пополз на ножках-ходулях паучок-круглячок. Димка проследил его путь до сумрачного угла над печкой. «Чем питается? – мелькнуло в его голове, – мухи давно не летают, одни – посохли, другие впали в спячку, а этот всё бродит, ищет местечко, где бы устроиться». Димка взглянул в окошко и затосковал. Во дворе ослепительно блестел на солнце недавно выпавший снег. Деревья в саду стояли запушённые, с ветки на ветку прыгала синица, роняя снежную пыль. Ему захотелось взять санки и побежать на горку, где уже, наверное, катаются ребята, а он тут должен чистописанием заниматься.

Вздохнул, и опять склонился над тетрадью. Тетрадь у него в линейку с косыми линиями, чтобы нужный наклон букв соблюдать. Начал выводить первые буквы предложений: «*Мама моет Машу. Папа рубит дрова. Бабушка доит корову. Дедушка ловит рыбу*». Димка ставит на линию точку и начинает писать букву «М» – ведёт перо вверх без нажима, потом вниз, с нажимом. И так дважды, потом делает крючок для соединения с буквой «а». И пошла линия против часовой стрелки с утолщением в средней части овала. Потом – повтор, и прочитал: «*Мама*». Сравнил с образцом и поморщился. Понял, рука была напряжена, заглавная буква получилась не совсем ровной от дрожания руки. Димка смотрит на кончик пера, хватит ли чернил ещё на два слова, и продолжает работу. До «дедушки», что «ловит рыбу» ещё далеко. Потом будет стараться написать чисто ещё несколько предложений, пока не зачешется переносица, и не возникнет перед глазами ледяная крутая горка, по которой он лихо съезжает на «снегурках». Коньки его крепко привязаны к валенкам верёвками, морозный ветер бьёт в лицо, и он готов пронестись по речному льду до другого берега, если бы не Ксюшины санки. Он видит, так ударился об них, шапка с головы слетела, носом стукнулся об лёд... Помнит, поднялся, а из носа – кровь, переносицу чуть не сломал. Ксюшу хотел отколотить, да она ж – девчонка. Что с ней связываться? Сама подбежала, испугалась, платочек суёт... Куда глядела? Орал же сверху: «Эй, отойди!..»

Лёд теперь глубоко под снегом, каникулы позади, ребята на лыжи перешли, они у всех разные, редко у кого покупные, чаще самодельные. Отец тоже над лыжами потрудился, сделал их ему из двух дощечек: выстругал рубанком, концы распарил в кипятке, загнул накрепко, высушил и заострил. На скользящей стороне даже желобки узкой стамеской вывел, ремень широкий приделал, – бери, пробуй! Нормальные получились лыжи, не хуже покупных, ведь всё равно нет лыж в магазине. Эх, сунул бы сейчас ноги в валенки, лыжи в охапку и – к ребятам! А тут – ручка с пёрышком, тетрадь...

Скоро старшая сестра Валя придёт и раскомандуется. «А всего-то – на два года старше, тоже ещё – командир!» – мысленно возмущается Димка. Начнёт просить: «Дай посмотрю тетрадь, мне мама поручила тебя проверить». Ничего она не поручала, сама

захотела, чтоб потом сказать: «Ты опять написал пером, как курица лапой!» Недовольная будет, да ещё матери расскажет, что без спроса на улицу ушёл.

Он уже склонился над тетрадью, чтобы продолжить писать, как вдруг вспомнил, что надо подбросить дрова в печку, как было ему велено. Открыл дверцу, заглянул в топку. Чурки ещё тлели, он пошуровал их кочергой, – звёзды искр посыпались в поддувало. Вовремя вспомнил, огонь чуть не погас. Тут же швырнул в зев топки несколько сухих обломков досок, подождал, пока они разгорятся, потом сверху из ведра сыпанул два совка угля-горошка. Всё, на два часа хватит.

Посмотрел на часы-ходики. Гирька на цепи далеко ушла вниз, подтянул её, а в это время из-под часов по шлаковой стене поползла мерзкая двухвостка. Димка поморщился, поспешил с ней разделаться, – схватил ручку и вдавил в её бронзовую спину кончик пёра, потом сбросил блестящий трупик на земляной пол. Оглядел брезгливо перо и принялся чистить его промокашкой.

Ходики тикали, напоминая о времени, и он опять уселся за стол. Писал и писал, склоняя голову то в одну, то в другую сторону, порой от усердия высовывая язык. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем оторвался от тетради. Радостно потёр руки, – ура! – на этот раз не поставил ни одной кляксы.

За окном прогудел заводской гудок. Скоро отец придёт домой в мазутной фуфайке, в шапке-ушанке с опущенными «ушками», он на фронте уши отморозил, теперь даже от лёгкого морозца прячет их. Придёт, снимет брезентовые рукавицы, повесит ватник на вешалку и примется в тазу долго отмывать мозолистые руки. Шапку не скоро сбросит, так и будет в ней ходить, то в подвал за картошкой, то в сарай поросёнку давать корм, потом примется ужин готовить. Мама позже приходит, и он, по ходу дела, начнёт спрашивать: «Чем, сынок, занимался? как твоя учёба?» Ответы не дослушивает, некогда ему. Тетради не проверяет, на Валю надеется, а та всегда найдёт, за что придраться.

Сумерки густеют, надо воды нагреть, отца дождаться и сразу туда, – на горку...

***

Утром он идёт в школу с хорошим настроением, всё успел сделать: и домашнее задание выполнить, и с ребятами на горке накататься. Теперь шагает по пробитой в снегу тропинке через овраг в сторону железнодорожной станции. На ногах – валенки, на голове – кроличья шапка, на плечах – стёганка, в руке холщёвая серая сумка, стянутая шнурком. В сумке у него тетради, учебники и много чего другого: карандаши, ручка, перья, чернильница, ластики, промокашки... Сумка в чернильных пятнах, в прошлом году её нечаянно измазал. Не было тогда в магазинах чернильниц, пришлось пользоваться аптекарским пузырьком, куда наливали ему фиолетовых чернил, и приходилось затыкать горлышко чем придётся. Пузырёк подтекал, чернила пачкали руки, тетради, сумку, одежду. Большинство учеников тоже ходили в школу с пузырьками, это потом появились в продаже «непроливайки» из эбонита и фарфора, но и их затыкали пробками.

Тропинка выводит Димку на мостик, проложенный через овраг. Справа от тропинки стоят огромные светло-серые баки нефтебазы, слева – сгоревший немецкий танк, что до сих пор не вывезен на металлолом. Димка даже не смотрит на него. Танк он давно излазил вдоль и поперёк, даже внутри побывал, ему уже не интересно. Димка идёт к дороге, стоит, раздумывает, как лучше её пересечь, и каким путём дальше идти. Если левым, то надо пройти мимо площадки с техникой и разным оборудованием, вы-

груженным из вагонов, и шагать дальше по рельсам к зданию вокзала, а на пути часто стоят длинные составы, придётся лазить под вагоны, искать проход. Правым путём – короче к школе, но для этого придётся преодолеть бугор, обходить длинное складское помещение. Минуту-другую он стоял перед выбором. По бурой от навоза снежной кашице лошади тащили сани, катились грузовики. Внезапно он увидел трактор с прицепом, точнее сани-волокуши с большой бочкой. На краю саней сидел Сашка Сыроквасов и помахивал ему рукой, мол, не прозевай. Димка в два прыжка догнал бардовозку и присоединился к нему. Поехали, улыбаясь удаче. Путь этот вёл к центру города мимо нефтебазы, затем нырял под пролёт железнодорожного моста и выводил на осевую улицу – Дзержинскую, а через три перекрёстка – улица Карла Маркса, на ней их школа. Трактор едет, чадно дымит, тянет за собой бак вязких спиртовых отходов – барду. Тракторист почему-то выбрал окружной путь, хотя есть более короткая дорога. Димка с Сашкой сразу поняли, что он кому-то из родственников или знакомых часть барды слил, такое они замечали не раз. В зимнее время барда служит подкормкой для домашнего скота.

Полгорода нуждаются в ней: горожане носят её на коромыслах, просто ведрами в руках, возят санками в бочонках...

Трактор качается, переваливается с бока на бок по рытвинам, поворачивает на Дзержинскую. В самом начале её за одноэтажным старым домом громко стучит крупорушка, выбрасывая вверх кольца дыма, работая на солярке. Крупорушку эту горожане называют по былой принадлежности – Зелепухинской мельницей, вокруг неё пустыри и разбитые войной коробки зданий. Их небольшой город разбит, по выражению взрослых, «как Сталинград», – сплошные улицы-руины. Сани-волокуши иногда ощутимо трясутся на яминах, но приятелям такая езда по душе, это что корабль по волнам. На углу улицы Шмидта волокуша вдруг дёрнулась, струя тёплой барды из открытой горловины бочки брызгами окатила ребят, пришлось соскакивать с прицепа, пешком идти и на ходу очищаться снегом, развеивать спиртовой запашок.

Начальная школа располагалась в крепком одноэтажном доме на улице Карла Маркса. Дом раньше принадлежал какому-то купцу, стены полуподвального помещения со сводчатым потолком имели железные скобы и крюки для подвески туш. Помимо полуподвала, где, кстати, тоже проходила учёба, в нём имелись две просторные комнаты с большими окнами, смотрящими на запад через пустырь в тыльную сторону двухэтажных коробок Ленинской улицы. Севернее из окон виделся ещё один пустырь, переходящий в базар, и Ямские слободы. Одна из комнат была проходной, через неё ходили в другую комнату – тупиковую. Эти комнаты и назывались классными помещениями. Была и учительская – небольшая комнатушка с дверями в проходной комнате, где было узкое окошко на восток с занавеской, стояла печь, имелся стол с двумя стульями, кровать. На стене висели полки с книгами и посудой, на полу громоздились вёдра, швабры, тазы, тряпки, веники и прочая хозяйственная всячина. Учителя здесь отдыхали во время перерывов, пили чай, приготовленный женщиной неопределённого возраста по имени Полина. Она проживала здесь с разрешения местного начальства, исполняя обязанности сторожа, истопника и уборщицы. Она же следила за часами, – сообщала звоном колокольчика о начале занятий, перерывах и окончании. Полина была личностью примечательной. За свой внушительный вес и нелёгкий характер школьники прозвали её «Трёхтонкой» и откровенно побаивались, – могла

сграбастать любого зарвавшегося шалуна и от всей души надрать ему уши или дать оплеуху. На уровне эмоциональных догадок старшеклассников «Трёхтонку» считали существом с повреждённой головой. И это передавалось новичкам, хотя на самом деле можно легко повредиться, общаясь с таким трудным послевоенным «детским материалом». Чаще всего Полина была деловита и однообразна: готовила учителям борщ или кашу, запахи которых будоражили воображение школьников, потом важно выплывала из своей коморки, придерживая рукой язычок медного колокольчика размером с её кулак.

При её появлении в проходном классе уже понимали: «Трёхтонка» будет звенеть до тех пор, пока их учительница Егорова Мария Петровна не выдержит:

– Хватит, хватит, Поля, не глухие, слышим!

Та укрощала колокольчик и важно уплывала обратно в учительскую.

И так день за днём, год за годом.

– Полина! – порой слышался голос Марии Петровны, – иди сюда, выведи балбеса на свежий воздух, чтоб другим не мешал...

Понятно, очередной переросток вышел за дозволенные рамки, добровольно не покидает класс.

Полина тут как тут. Берёт его за шкирку, выволакивает во двор, иногда вместе с партой, в которую он намертво вцепился. Потом устроит ему экзекуцию: даст оплеуху или надерёт хорошенько уши, и тот никуда потом не пожалуется, знает, что сам виноват.

Трудно учительнице справляться с классом, но справляется. Димка понимает: через её руки прошло немало учеников, отвыкших от учёбы за годы войны. Она учитывает, кто остался без отца, кто без матери рос, кого бабка или дед воспитывают, а у кого воспитанник воспитан так, что его на переменах во дворе ученики «довоспитывают»: то нос разобьют, то под глаз синяк поставят. Часто приходится родителям объяснять, за что их чадо пострадало.

Она находит нужные слова, а вокруг – разруха, нищета, сквернословие.

Обычно переростки на переменах курили, затевали драки. Учиться им скучно – сидеть и слушать бойкие ответы одноклассников-«воробушков». Некоторые переростки бросали учёбу, их возвращали, кое-как переводили из класса в класс.

Димка ещё не знает, что скоро школа пополнится девочками, они будут учиться вместе во вновь образованных двух классах – «А» и «Б». Класс «А» возглавит учительница Суворова Наталья Тимофеевна, а класс «Б» – Егорова Мария Петровна. Скоро атмосфера в классе изменится к лучшему: мальчишки присмиреют, учиться станет интереснее, но всё равно до 5-го класса на своем посту будет находиться «Трёхтонка», и шалунам от этого не станет легче. Потом перейдут учиться в кирпичные здания – двухэтажки на этой же улице. Они чудом уцелели среди разбитого центра города, это и есть их средняя школа № 1. Пока же Димка учится здесь, в «началке» одноэтажной. Партами служат столы и лавки; парты обещают скоро установить.

Обычно на лавке сидят по шесть учеников за одним столом. Димка с Сыроквасовым долго сидели на первом ряду, но на прошлой неделе Мария Петровна их пересадила, – поменяла местами с Федей Варнавским и Колей Дворяткиным. Теперь «на камчатке» перед Димкой и Сашей видны только затылки и спины учеников, а у прохода – профили Коли Псарёва, Валеры Салецкого, Славика Монашёва... Рядом с «камчаткой» стоит вешалка с тёмной грудой одежды. Димка даже рад новому месту, отсюда шире обзор, к тому же здесь он неуязвим от попадания в него твёрдого бумаж-

ного катыша, если вдруг кто-то вздумает натянуть резинку на пальцы и стрельнуть.

Учительница по ходу урока всё замечает, но стоит ей отвернуться, как тут же, в чью-нибудь спину влетает такой катыш, «спина» поворачивается, – кто? Поэтому в зависимости от настроения класса, глаза у Марии Петровны меняются, то они негодующие, то настороженные, то одобрительные. Равнодушных глаз у неё не бывает.

К полудню Димка с Сашкой устали сидеть, и уже лениво слушают учительницу. Мария Петровна занята проверкой домашнего задания, правописания «жи – ши», «ча – ща» и «чу – щу». В руках у неё гибкая металлическая линейка, время от времени она хлопает ею по столу, призывая к вниманию, мол, слушайте и не отвлекайтесь на глупости, не то достанется по шаловливым рукам. Вот она берёт мел и идёт к доске. И тут раздаётся в тишине грохот и смех. Это четыре переростка, сговорившись, дружно привстали, а сидевший на краю лавки Славик Монашёв рухнул на пол. Громче всех смеётся Коля Псарёв. Мария Петровна почему-то на него обращает свой гнев:

– Встань, дубинушка стоеросовая! Развлекаться вздумал? Ах ты бесстыжий, ничего на тебя не действует, сам не учишься и другим не даёшь. Делаю последнее замечание, потом пеняй на себя, – вылетишь из школы!

– Во, чуть что – Псарёв!.. – возмущается он. – Я сижу, никого не трогаю, ничего не знаю, а меня – из школы?..

С Марией Петровной не поспоришь, ставит его лицом к тёплой стене печки. Это её любимый приём из педагогического арсенала дореволюционной школы. Ученик в таком положении не имеет возможности отвлекать класс подмигиванием или ужимками. Димка тоже нюхал извёстку печи и знает, как легко стать мишенью для обстрела бумажными катышами, чувствует, что и сейчас кто-то уже натягивает резинку на два пальца, – целится в затылок Псарёва...

Так бы и простоял Коля до конца урока, но тут другой Коля, Дворяткин, с Федей Варнавским что-то не поделили, – летят тетради и учебники на пол, – схватились...

Мария Петровна жестом показывает им на дверь, не хочет тратить драгоценное время на выяснения ссоры, но они не унимаются, и тогда она взрывается:

– Вон, оба из класса! Или Полину позвать?

Кто же хочет с «Трехтонкой» связываться? Нехотя встают, направляются к дверям.

Мария Петровна тут же находит тетрадь Варнавского, читает на обложке:

– «Тетрадь Варнавского Уфёдора»... Ну, грамотей! Вернись, Варнавский...

Федя непонимающе смотрит на неё.

– Ты кто, Фёдор или Уфёдор?

– Фёдор!

– Читай, написано слитно «Уфёдор», а не Фёдор.

В это время Псарёв повернул лицо от печной стены, от души заливается смехом. А зря, и его тетрадь берёт учительница, проверяет и обнаруживает ошибки: он вместо буквы «и» написал «ы» в словах «живёт» и «жилец».

Зачитывает и смотрит на него, а у того в душе бесёнок-подселенец ножками дрыгает, никак не может угомониться.

– Нет, вы посмотрите, – возмущается Мария Петровна, – он ещё улыбается, каково? Мои слова ему, как горох об стену!

Она кипятится и вновь ставит его лицом к печке, стучит пальцем в рыжеватый затылок. Тот лбом и носом от каждого тычка пробует крепость стенной извёстки. Учительница при этом приговаривает: «Жи-ши» пиши через «и», «ча-ща» – через «а», «чу-щу» – через «у»! Наконец устаёт, успокаивается, отпускает его на место и садится за стол. Опять продолжает начатую тему, обращаясь ко всему классу:

– И так, ребятки, как будем писать «жи» и «ши»?

Класс дружно кричит:

–Через «и-и-и!...»

– А «ча»-«ща»?

– Через «а-а-а!..»

– Молодцы, а «чу»-«щу»?

– Через «у-у-у...ю...!»

– Кто юкнул? Придётся повторить...

– Итак, как пишутся слова с «жи» – «ши»?

– Через «и-и-и...», – с новой силой дружно выдыхает класс, да так, что слышно даже во дворе.

Спустя много лет Димка становится Дмитрием Алексеевичем. Он после окончания педагогического института уже сам проверяет тетради своих учеников. Проверяет и вспоминает, в каких условиях приходилось учиться его поколению, и неизменно перед ним возникает образ первой его учительницы – Егоровой Марии Петровны, кстати, она за свой учительский труд в послевоенное время одна из первых в городе Ливны получила орден Ленина. Её давно уже нет в живых, а её ученики стали достойными гражданами своей страны. Они иногда собираются по случаю той или иной школьной юбилейной даты и очень тепло вспоминают не только свою первую учительницу, но и школьную добрую печку, к извёстке которой она ставила классных шалунов. И Дмитрий Алексеевич с доброй улыбкой неизменно говорит: «Наша Мария Петровна умела достучаться до мозгов».

Январь, 2018 год

БОГ МИЛОВАЛ
(рассказ)

В том, что Анатолий Тимофеевич свалился с крыши, словно желторотый птенец из гнезда, нет ничего удивительного, – крыши кроют для того, чтобы с них слетало всё лишнее, и чем круче стропила, тем больше она отвечает своему назначению. Вот и будь осмотрительным, работая наверху, соблюдай правила безопасности.

Тимофеевичу повезло – не ушибся; в последний момент, когда поскользнулся на олифе жестяной кровли, успел-таки уцепиться руками за берёзовую ветку и, загремев вниз, приземлился в палисаднике на ноги, не ударился головой или, допустим, рёбрами. Тело приняло правильное положение, и потому отделался небольшими лицевыми царапинами об шиповник да разорванными штанами. Бог с ними, с царапинами, – заживут, штаны жена-Галина починит. Огорчает другое, – падение он сопроводил вырвавшимися из уст чёрными словами, и когда? – на Пасху! С одной стороны это грех невольный, а с другой, – свидетельство о червоточине в глубине души. Православный человек в критический момент воскликнул бы: «Господи, помилуй!», потому как стремится к словесной чистоте, сохраняя божьи заповеди А Тимофеевич ничейную мать вспомнил. Ладно, ругнулся, не в первый же раз, и не в последний. Плохо, что его непотребный выкрик услышала жена. Подошла, укорять принялась:

– Я тебя предупреждала: в день такой работать, – грех великий. Птицы – и те гнёзда не вьют, а ты? Людей не стыдишься! Вот и расплата пришла, а не верил...

Не любит Тимофеевич, когда его отчитывают. Галина прищурилась, его оправдания ждёт, почему полёз красить именно на Пасху? Он молчит, но мысленно возражает:

«Во-первых, не такой уж я верующий, чтобы в храме свечки ставить с утра, как, ты, например. Не приучен. Во-вторых, день тёплый, солнечный, как раз такой и нужен. Какой грех? Грех – языком трепать попусту и бездельничать, а у меня каждый выходной на счету. Вот покрашу, потом через неделю копка предстоит, 16 соток на мне, иди-ка, жёнушка, к соседкам, не мешай!».

Те как раз встретились неподалёку. Он уже в себя пришёл после падения, вновь полез олифить гребешки, сверху видно: стоят две соседки-бабки, пенсионерки: Варвара и Таисия. Варвару улица зовёт Лукьянихой, а Таисию – никак не обозначила, её люди по отчеству зовут – Андреевной. Тут Галина подошла к ним, похристосовались, втроём что-то вспоминают, и слышно, как Лукъяниха продолжает ранее начатый разговор:

– Значит, я в храме выстояла службу, подхожу к отцу Николаю горем открыться, грешна, мол, с зятем не нахожу лада, помоги смириться, житья от него нету. Тут батюшка на меня словами набросился: «Сама хороша! – говорит. – Когда гневаешься, рот свой закрой и молчи, вот и всё смирение».

– Так и сказал? – удивляется Таисия.

– Так и сказал. Помог, называется. Я сразу поняла, слабенький он, для священника не созрел ещё, да и вида в нём нет: бородёнка реденькая, волосёнки на голове кое-как торчат, того и гляди, совсем потеряет, и это – пастырь? Ишь ты, «рот закрой!» Это почему же я должна молча слушать пьяного зятя и отпора ему не давать? Нет уж, пусть сам помалкивает, Светке моей не перечит, зараза такая...

– Есть же другие священники, – сочувствует ей Таисия, – свет клином на нём не сошёлся.

– Ну да, поэтому выбрала я отца Василия. Высокий такой, голос солидный, не мямлистый, борода лопатой, усы густые, щёки заросшие. Выждала, подошла к нему с болью своей, и говорю: «Как мне зятя выдержать, дюже ругаюсь с гадом, смирения не нахожу в себе. Научи, батюшка, смирению, чтобы не грешить из-за него». Посмотрел он на меня удивлённо и говорит: «Чудная ты женщина, как же я могу смирению тебя научить, если сам грешен? Смирения во мне – кот наплакал, а порой и вовсе нет. Нешто я из другого теста сделан? Извини, не могу тебя ничему научить. Учитель один – Господь. Он учит нас добру на протяжении всей нашей земной жизни. Обращайся к Нему, молись, проси вразумить тебя, дать силы долготерпения». И добавил ещё: «Имей в виду, всё от гордыни у нас идёт, смирение – это очень трудное дело, на себе испытал. Я, говорит, со своей матушкой порой в перебранку пускаюсь, а потом каюсь и молюсь Господу, прощения прошу. Без покаяния и моления ничего не происходит с душой человека. Нет, нет, ничем я не лучше тебя, обращайся к Нему, Спасителю нашему».

– И что, помогло? – любопытствует уже жена, Галина.

– Есть успехи, молилась. Я сразу после разговора с отцом Василием, зятю уступки стала делать, но предупредила его: «Если дочь мне пожалуется, знай, я тебя, спящего, так чурбаком по башке огрею, что навсегда перестанешь её обижать!»

– Образумился?

– А то! Видит, что молчу, терплю его выходки, присмирел, задумался. Вот так молитва моя дошла. Я же пост соблюдала, даже собаку приобщила поститься, перестала ей косточки давать, на крупу посадила, пусть ест, что и я. Весь пост думала о зяте: «Погоди, гад! – дай только Пасха пройдёт, я тебе такое устрою, – присмиреешь окончательно!» Трудно мне с ним, бабы! И с покойным муженьком не шибко везло, пил безбожно, сами знаете...

Анатолий Тимофеевич олифит крышу и невольно слушает их разговор. Таисия Андреевна через два дома от него живёт, а Лукьяниха – на противоположном конце улицы. Обе после войны и до пенсии работали фрезеровщицами, а как не стало родного завода в горбачевско-ельцинские годы, возненавидели они реформы. На протестные митинги зачастили, в храмы принялись хаживать, хотя в прошлом числились активными комсомолками. Портреты их висели на стенде у проходной. «Кто они теперь? – думает Тимофеевич, – так... бабки-косолапки, хотя разум ещё не утратили, мыслят здраво. Галя-то моя, последняя, кого они обучили фрезерному делу. Специальность эта теперь никому не нужна, ушла жена в торговлю, стоит за прилавком частного магазина, и то ладно, до пенсии дотянет. Дети вылетели из-под родительского крыла, в Москву перебрались на жительство, а здесь всё хуже и хуже: ни работы, ни жилья, ни надежды на лучшие перемены. Хорошо, что есть у меня военная пенсия афганца. Сил хватает для огорода, а другим, каково?» Продолжает рассуждать он, и опять возвращается мысленно к празднику: «К Пасхе жена долго готовилась, это Таисия Андреевна её к вере подвинула, а Варвара Лукьяниха, – та больше в приметы и сны верит, стало быть, язычница. И язык у неё ещё тот... Вообще-то, религия – дело личное, можешь и не верить, но других неверием не заражай. Человек без веры, что птица-страус: бегает быстро, а взлететь не дано».

И главное, что возмутило Тимофеевича: зря Лукьяниха о муже так отозвалась. Неплохим тот был человеком, он его хорошо помнит, правда, пил тот много, но ведь бросил же и до конца жизни к рюмке не прикасался. «Москвича» ему дали, как ветерану Отечественной, возил Варвару, куда она хотела. Дом отделал – загляденье, а она ещё жалуется: «С муженьком не везло, пил безбожно». Не врала бы на покойного. Золотые руки были у дяди Кондрата – так его он называл тогда – настоящий мастер, и трудился всё у домашнего верстака: строгал, пилил что-то. У него карандаш всегда за ухом торчал, когда выполнял какой-нибудь заказ. Умел делать оконные рамы с дивной резьбой на старинный лад. Бывало, кончит работу, сядет отдыхать и за стакан берётся. Потом голова мастера долго лежит на золотых руках. Трогать не смей головушку, пока сама не приподнимется, в сознание не войдёт. Таким и запомнил его, будучи ещё школьником. У дяди Кондрата было любимое выражение: «Можно выучить 20 иностранных языков, а оставаться дурак-дураком, ничего не понимая в жизни». После окончания школы дядя Кондрат выпал из поля зрения – Анатолию в армию пришлось идти, и надолго, а, выйдя в запас, застал Кондрата уже седым, как трава предзимняя. Обрадовался тот, в дом зазвал, расспросы пошли. И тут, за столом, ообнаружилось, что Кондратий Иванович не пьёт. Даже за встречу рюмки не поднял, и Тимофеевич пошутил тогда, подняв в одиночестве рюмку:

– За результат антинародной компании Горбачёва!

– Не его заслуга. Я в это время, наоборот, пил всё подряд.

– Стало быть, врачи вмешались, дядя Кондрат?

– Нет, сам бросил, в один момент, даже не ожидал от себя такого. В один миг жизнь моя круто переменилась.

– Это как же?

– Хочешь, чтоб рассказал?

– Ещё бы! Буду рад, может, мне пригодится...

Сколько времени прошло, а ясно помнится, как Кондратий Иванович повёл свой рассказ:

«Когда Горбачёв устроил нам антиалкогольный ад, работы было – без продыху, материал – дрянь, хорошей доски не сыщешь. Заказы шли от дачников-неудачников. Один просит двери изготовить и подогнать их к коробу, другому воры раму выломали, устроили «гуляй-поле» – сквозняк, приходится новую раму делать. Я заказчикам условия ставил: «Водку ищите для оплаты, только так!» У магазинов тогда очередюги были – до километра. Человек выпить хочет, а ему препятствие умыслили. Стоят за водкой злые толпы, с рёвом и матом штурмуют прилавки, каково? Такого отношения к себе русский человек давно не видывал. Последовал, как говорят теперь по телеку, симметричный ответ – самогоноварение. Я, конечно, пил и пил здорово, можно сказать, набирался до свинячьего состояния – валялся, где попало, потом отлёживался дома, неделю-другую болел. Варвара, жена моя, не знала, что со мной делать. А что делать? чувствовал свою беспомощность, до слёз было обидно смотреть, как уродуют страну. Мы же её сделали великой, кровь за неё проливали, а тут – с ног на голову всё ставят и ставят, и вражины не видно, не знаешь, с какой стороны оборону держать. В общем, слабину дал, в тоску впал и крепко напивался, чтобы только глаза мои этого не видели. Как-то, то ли сам домой дошёл, то ли приятели довели. Не помню, память отшибло, но перед этим, словно молния в лоб долбанула, – сверкнуло что-то в мозгах и всё, во тьму погрузился. Сколько пролежал, не знаю. И темно, и холодно, и первобытная тишина. Сразу мысль сработала – кердык! Сердце заколотилось, дышать нечем... Кое-как высвободил руку из-под спины, поднял её, а надо мной – доски неструганные. Вправо протянул, – то же самое, влево – такая же картина, да к тому же и на досках лежу. Ужас подступил, не выразимый, пот по спине – ручьём. Войну прошёл, а тут страх такой. Не выбраться, законопачен, мысли побежали, как раствор из худого короба, про жену нехорошие слова складываю: «Как ты могла, Варвара, не дождавшись трёх дней, положенных покойнику, сунуть меня в домовину? Поспешила разделаться? Наверное, ни друзей, ни родственников не пригласила...» И тут, слышу, часы в тишине постукивают. «Мало, – думаю, – тебя спьяну долбачил, разве не знаешь, что стрелки надо останавливать в доме покойника? Заточила меня в доски, а я сухую яблоню в саду не спилил, кроличьи шкурки не сдал... Интересно, во что ты меня обрядила? Так... костюм не пожалела. Правильно, нафиг он тебе нужен, потёртый. Туфли – на мне, ладно, сойдут... Что под голову положила? Затылок болит…». Высвободил руку из-под спины, ощупал подголовье, – о-о-о! Пусто, голые доски. Почему подушку не подсунула или, на худой конец, клок сена? Не может такого быть. Варя или даст подушку, или ничего не дождёшься от неё, хоть убей, но в таком положении покойника не оставит. Здесь что-то не так. И заорал я от возмущения:

– Варя-я-я, дай подушечку-у-у!

И затих, сберегая воздух.

Тут же услышал её голос:

– Я тебя, скотина, знать не желаю, видеть не хочу, лежи, не мешай мне спать!

Понял мгновенно: под кроватью оказался. Я же, если пьяный, всегда с постели скатываюсь, до утра на полу дрыхну, а на этот раз глубоко под кровать закатился.

Вот с этих пор бросил пить раз и навсегда. Страх победил водку, не захотел раньше времени оказаться мертвяком»...

Олифит крышу Анатолий Тимофеевич, вспоминая рассказ Кондратия Ивановича, и думает, жаль, что не удалось поговорить с ним о войне. Ветеран каждый раз уклонялся от воспоминаний. И что удивительно, когда умер, понесли перед гробом на бархатных

подушечках чуть ли не два десятка его боевых наград – орденов и медалей. Скромный был человек, и военком хорошо при прощании отозвался: «Ушёл «последний из могикан», мы все перед ним в долгу, никогда его не забудем». Слова правильные, а действительность иная: тот памятник, что поставило ему государство, уже на следующий год завалили набок какие-то вандалы. И не только на его могиле. Газеты шум тогда подняли, осквернителей быстро нашли, оказалось, что это подростки резвились. Родителей оштрафовали, но подобные случаи стали повторяться и в других городах. Что-то серьёзное упускает школа в своей работе, да и в целом идём куда-то не туда... Прав был дядя Кондрат, когда говорил: «Можно выучить хоть 20 языков, а оставаться по жизни дураком, ничего не поняв».

Анатолий Тимофеевич работает на крыше и бросает время от времени взгляд на улицу, там бабки-косолапки, наговорившись, ушли, стоят их внуки со смартфонами в руках. Что-то обсуждают, на кнопочки нажимают... Им бы удочки в руки взять да на Сосну сходить, порыбачить, лёд-то давно сошёл, река вошла в свои берега, нет же, лезут в виртуальный мир, что-то в нём выискивают, а грача от галки не могут отличить, щегла от чижа – тем более...

– Слазь, – кричит жена, – хватит работать, гости вот-вот придут, надо же быть человеком, не позорься в такой день!

– Не шуми, спускаюсь, я почти закончил...

Кисть положил Тимофеевич в пустую банку, сбросил в палисадник, перегнулся к лестнице. С трёх поперечин сошёл, ногой ищет следующую опору, не дотягивается кончиком носка... Решил, пора опираться... Напрасно, поперечина ещё ниже оказалась, и рухнул бывший прапорщик в палисадник спиной на прежний куст шиповника, слава богу, ободрал лишь затылок и локти.

Тут крутизна крыши не причём, спешка виновата. Встал Анатолий Тимофеевич и не поймёт, как же так вышло, что дважды за день слетел вниз, словно птенец какой? Правда, на этот раз чёрное слово выпустить не успел, – путь с лестницы оказался в два раза короче, а может, душа его на крыше очистилась, как железо от ржавчины? Нет, всё же права Варвара, предупредившая утром: «Сегодня работать – великий грех!» Потом скажет: «Бог миловал», глядя на поцарапанного мужа.

Февраль 2018 г.